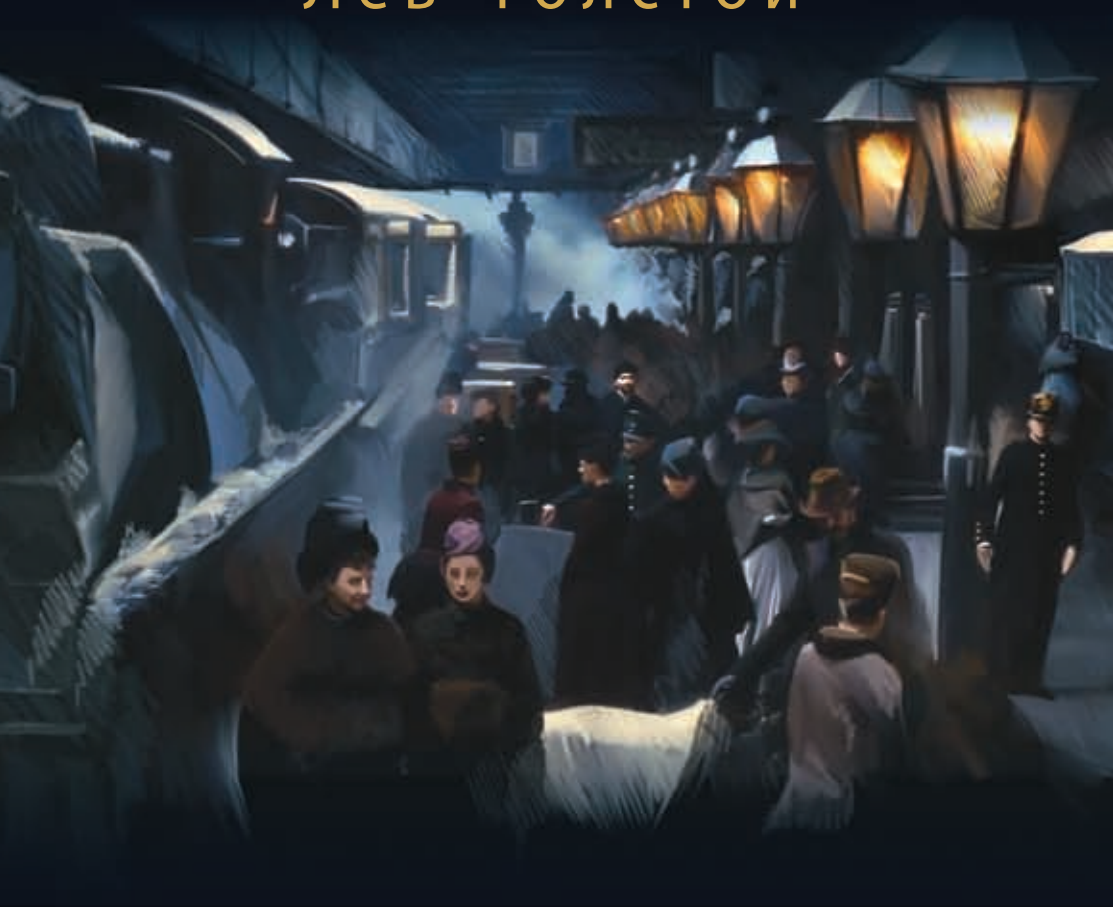


АННА КАРЕНИНА

Лев Толстой



АННА КАРЕНИНА

Лев
Толстой



АННА
КАРЕНИНА

ЛЕВ
ТОЛСТОЙ



www.bmm.ru

ISBN 978-5-88353-502-3



9 785883 535023

www.trade.bookclub.ua

ISBN 978-966-14-4703-4



9 789661 447034

Лев
Толстой

АННА
КАРЕНИНА



Москва
2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос)1
Т53

Печатается по изданию:
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. —
М.: Художественная литература, 1978–1985. — Т. 8–9.

Вступительная статья и комментарии *И. Н. Сухих*

Литературно-художественное издание

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич

Анна Каренина

Главный редактор *О. А. Дыдыкина*
Художник *Я. В. Крутий*
Дизайнер-верстальщик *Е. М. Залипаева*
Корректор *Е. Н. Петрова*

Подписано в печать 09.11.2012. Формат 60х90/16.
Усл. печ. л. 44,0. Тираж 15 000 экз. Заказ №

ЗАО «БММ», г. Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 1А. Тел. (495) 984-35-23;
e-mail: office@bmm.ru

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 61140, Харьков-140,
пр. Гагарина, 20а; e-mail: sor@bookclub.ua. Св. № ДК65 от 26.05.2000

Отпечатано с готовых диапозитивов на ЧП «ЮНИСОФТ»

Свидетельство ДК № 3461 от 14.04.2009 г.
Украина, 61045, г. Харьков, ул. О. Яроша, 18

© И. Н. Сухих, вступительная статья,
комментарии, 2013
© Hemiro Ltd, 2013
© ЗАО «Фирма Бертельсманн Медиа
Москва АО», 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного
Досуга», 2013

ISBN 978-5-88353-502-3 (БММ)
ISBN 978-966-14-4703-4 (КСД)

«Анна Каренина»: мысль семейная и жизнь *по-божью*

История второго толстовского романа начинается с привычных для этого автора случайностей, перемен и побега из литературы. Начиная «Войну и мир» одним из литераторов своего поколения, Толстой после нее становится «настоящим львом литературы» (Гончаров), «слоном среди нас» (Тургенев), писателем, огромную роль которого в русской литературе признают все.

Эти похвалы и оценки не спасают его от очередного кризиса. «Я, благодаря Бога, нынешнее лето глуп, как лошадь. Работаю, рублю, копаю, кошу и о противной литературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю», — с иронией рассказано А. А. Фету (13–14 июня 1870 г.).

Однако он был писателем до мозга костей. За полгода до летних «лошадиных трудов» жена и верный яснополянский летописец впервые ловит очертания нового замысла: «Вчера вечером он мне сказал, что ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины. “Теперь мне все выяснилось”, — говорил он» (С. А. Толстая. «Дневник». 24 февраля 1870 г.).

На окончательное выяснение, впрочем, ушло почти восемь лет. Толстой задумывает роман из Петровской эпохи (от него остались лишь наброски), перечитывает пушкинскую прозу и — через три года — возвращается к прежнему замыслу. «Вчера Левочка вдруг неожиданно начал писать роман из современной жизни. Сюжет романа — неверная жена и вся драма, происшедшая от этого» (С. А. Толстая. «Дневник». 20 марта 1873 г.).

Формулу новой книги Толстой придумал, когда роман уже катился к концу: «Мне теперь так ясна моя мысль. Чтобы произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так в “Анне Карениной” я люблю мысль семейную, в “Войне и мире” любил мысль народную, вследствие войны 12-го года <...>» (С. А. Толстая. «Мои записи разные для справок». 3 марта 1877 г.).

Сопоставления первого и второго романов были неизбежны. Но они неизбежно представляли контрастом.

Из ближней истории «Войны и мира» Толстой вернулся в современность: в последней части «Анны Карениной», оконченной в 1877 году, речь идет о событиях года предшествующего. Целостный образ воюющего народа сменился картинками семейных и общественных противоречий. Широкий эпический фундамент *мысли народной* сжался до узкой площадки *мысли семейной* как главной опоры человеческого существования. Создав уникальный для XIX века жанр *романа-эпопеи*, Толстой теперь обратился к привычному для европейской и русской литературы *семейно-психологическому* роману, осуществленному, однако, с привычной для него масштабностью и оригинальностью.

С первой страницы, с первых же строк «Анны Карениной» мысль семейная предстает в драматическом, конфликтном развитии.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Первая фраза романа является одновременно ее вторым, внутренним, эпиграфом (она первоначально и предполагалась в качестве эпиграфа). Романное повествование начинается с картины глубокого семейного несчастья: «Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме французенкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожителстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских» (часть первая, гл. I).

«Все смешалось в царской семье» — так начинался один из фрагментов оставленного романа о Петровской эпохе. Но этот мотив, как эхо, откликнется позднее в размышлениях Константина Левина об изменившихся хозяйственных условиях русской жизни: «Это, может быть, не важно было при крепостном праве или не важно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все это переверотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложить эти условия, есть только один важный вопрос в России» (часть третья, гл. XXVI).

На фоне переворотившейся жизни и разворачивается история главной героини. В семействе Облонских все, в конце концов, как-то налаживается. Но судьба сестры Стивы Облонского, Анны Аркадьевны Карениной, предстает в романе чередой катастроф.

Начинающаяся с символического предвестия (гибель под поездом железнодорожного сторожа), история героини разворачивается как хроника безумной страсти и предсказанной смерти. На обратном пути из Москвы в Петербург в символической метели является Вронский, и начинается история незаконной любви, которая с неизбежностью ведет героиню на рельсы.

Анна сблизается с Вронским, оставаясь в доме нелюбимого мужа, потом уходит от Каренина и сына и вроде бы обретает новое счастье. Но оно оказывается зыбким, эфемерным.

Кульминационная любовная сцена изображается Толстым как осуществляемое сообщниками убийство. «Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения; а в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. <...>

И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи — то, что куплено этим стыдом. Да, и эта одна рука, которая будет всегда моею, — рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее. Он опустился на колена и хотел видеть ее лицо; но она прятала его и ничего не говорила. Наконец, как бы сделав усилие над собой, она поднялась и оттолкнула его. Лицо ее было все так же красиво, но тем более было оно жалко.

— Все кончено, — сказала она. — У меня ничего нет, кроме тебя. Помни это» (часть первая, гл. XI).

Когда Каренина и Вронский, преодолев многочисленные препятствия (ревность мужа, остракизм света, опасная болезнь), начинают жить вместе, вместо счастья Анна чувствует опутывающую ее паутину недоверия, ревности, равнодушия, временами переходящего в ненависть.

«Он хочет доказать мне, что его любовь ко мне не должна мешать его свободе. Но мне не нужны доказательства, мне нужна любовь. Он бы должен был понять всю тяжесть этой жизни моей здесь, в Москве. Разве я живу? Я не живу, а ожидаю развязки, которая все оттягивается и оттягивается» (часть первая, гл. XII).

Каренина видит — «в пронзительном свете» — даже не реальные факты измены Вронского, а собственные страхи и подозрения. «Моя любовь все делается страстнее и себялюбивее, а его все гаснет и гаснет, и вот отчего мы расходимся, — продолжала она думать. — И помочь этому нельзя. У меня все в нем одном, и я требую, чтоб он весь больше и больше отдавался мне. А он все больше и больше хочет уйти от меня. Мы именно шли навстречу до связи, а потом неудержимо расходимся в разные стороны. И изменить этого нельзя» (часть седьмая, гл. XXX).

Развязка следует с трагической неизбежностью. Подозрение в равнодушии, в уменьшении чувств Вронского приводит героиню на вокзал, где начиналась история этой любви: она гасит символическую *свечу жизни* (один из ключевых символов романа), ужасаясь, осеняя себя крестным знамением, подсознательно вспоминая о когда-то погибшем под поездом мужичке.

«И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. “Где я? Что я делаю? Зачем?” Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. “Господи, прости мне все!” — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла» (часть седьмая, гл. XXXI).

Почему гибнет эта прекрасная женщина? Какой рок ведет ее к трагическому концу?

На эти вопросы давались самые разные ответы, начиная с самых элементарных: адюльтер, супружеская измена должны быть наказаны.

После публикации романа Н. А. Некрасов (не выдавая своего авторства) адресовал «Автору “Анны Карениной”» эпиграмму, педалируя эту нехитрую мысль и сам иронизируя над ней.

«Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,

Что женщине не следует “гулять”

Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,

Когда она жена и мать».

Но почему судьба наказывает только Анну, а не профессионального грешника Стиву Облонского, не тех светских дам, которые дружно осуждают Анну на ипподроме и в театре?

Поиск более серьезного ответа возвращает нас к грозному и лаконичному эпиграфу: «Мне отмщение, и Аз воздам».

К его объяснению, отвечая на вопросы читателей, не раз обращался и сам Толстой. Наиболее развернуто он высказался почти через тридцать лет в связи с догадками В. В. Вересаева, писавшего книгу о Толстом и Достоевском.

Вересаев утверждал: «В романе мы видим отражение глубочайшей душевной сущности Толстого — его непоколебимую веру в то, что жизнь по существу своему светла и радостна, что она твердою рукою ведет человека к счастью и гармонии и что человек сам виноват, если не следует ее призывам. В браке с Карениным Анна была только матерью, а не женою. Без любви она отдавала Каренину то, что светлым и радостным может быть только при любви, без любви же превращается в грязь, ложь

и позор. Живая жизнь этого не терпит. Как будто независимая от Анны сила, — она сама это чувствует, — вырывает ее из уродливой ее жизни и бросает навстречу новой любви. Если бы Анна чисто и честно отдалась этой силе, перед нею раскрылась бы новая, цельная жизнь. Но Анна испугалась, — испугалась мелким страхом перед человеческим осуждением, перед потерей своего положения в свете. <...> И здесь можно только поклонить голову перед праведностью высшего суда: если человек не следует таинственно-радостному зову, звучащему в его душе, если он робко проходит мимо величайших радостей, уготованных ему жизнью, — то кто же виноват, что он гибнет в мраке и муках? Человек легкомысленно пошел против собственного своего существа, — и великий закон, светлый в самой своей жестокости, говорит: “Мне отмщение, и Аз воздам”» («Литературные воспоминания»).

Моралист Толстой упрямо напомнил автору этой светско-либеральной интерпретации об Авторе эпитафия, противопоставил рассуждениям о любви и таинственно-радостном зове мысль о добре и Боге. «Ваше понимание этого эпитафия мне гораздо более нравится понимания Л. Н. По-моему, и Льву Николаевичу Ваше объяснение более понравилось его собственного. По крайней мере, когда на его вопрос я объяснил ему причину моего желания знать, как он понимает этот эпитафия, он сказал: “Да, это остроумно, очень остроумно, но я должен повторить, что я выбрал этот эпитафия просто, как я уже объяснял, чтобы выразить ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от Бога, и что испытала на себе и Анна Каренина. Да, я помню, что именно это я хотел выразить”» (М. С. Сухотин — В. В. Вересаеву, 23 мая 1907 г.).

Может быть, не менее, чем Вересаев, остроумную интерпретацию судьбы Анны Карениной можно почерпнуть в рассуждениях о диалектике любви великого немецкого философа (который, конечно, романа не читал, но которого в свое время внимательно читал Толстой).

«Любовь является пустой и абстрактной, остается лишь чувственным влечением, если она выступает как единственное связующее звено и не вбирает в себя всего того, что человек должен пережить в соответствии со своей духовной культурой и условиями жизни своего сословия. Чтобы быть полной, любовь должна была бы быть связанной со всем остальным содержанием сознания, с благородством чувств и интересов» (Г. В. Ф. Гегель. «Эстетика»).

Разрыв с остальным содержанием сознания ведет к тому, что чувство замыкается само на себя, истончается и самоистребляется.

Так или иначе, все читательские споры и догадки, объяснения эпитафия строились вокруг судьбы Анны. Смерть героини, имя которой стало заглавием романа, казалось настолько естественной концовкой романа, что первый публикатор, редактор журнала «Русский вестник» М. Н. Катков, отказался печатать последнюю, восьмую часть, объясняя читателю, что «со смертью героини собственно роман кончился».

Сходным образом обычно понимают роман авторы инсценировок и экранизаций, выбрасывая из них почти всё не относящееся к любви и смерти Анны Карениной. Подлинная структура толстовской книги оказывается при таком подходе разрушенной, романное здание — перекошенным.

Вторым главным героем романа, который чем дальше, тем больше выходит на первый план, становится в «Анне Карениной» Константин Левин (даже точнее — Лёвин, потому что эта фамилия образована от имени автора, а домашние звали его не Лев, а Лёв).

Не случайно некоторые литературоведы шутили, что в толстовской книге под одной обложкой спрятаны два романа — семейный и сельскохозяйственный. Когда

читатели и критики упрекали писателя, что в романе «нет архитектуры», Толстой резко возразил: «Суждение ваше об “Анне Карениной” мне кажется неверно. Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи» (С. А. Рачинскому, 27 января 1878 г.).

Архитектура, композиционное единство книги строится на контрапункте двух фабульных линий — истории Анны и истории Левина. Этот персонаж, кстати, появляется в романе раньше Анны и самые главные шаги совершает в восьмой части, уже после гибели героини. Почти не сталкиваясь в романном хронотопе, Каренина и Левин все время соотносятся в авторском внутреннем видении, в толстовском размышлении о жизни.

Левин тоже стремится к семейному счастью, переживает неудачу в первом предложении Кити, ревнует и страдает. Но семейное счастье является для него не целью, а лишь условием более широких жизненных задач. В переворотившейся реальности он ищет более прочную точку опоры.

В своих поисках Левин переживает три стадии, так или иначе связанные с сельским трудом, отношениями с освободившимися крестьянами, планами обустройства России на новых основаниях. Сначала он стремится к общему труду с мужиками, с удовольствием наблюдает за жизнью простой крестьянской семьи. Но это не спасает его от ощущения бессмысленности жизни, доходящего до мыслей о самоубийстве.

«Всю эту весну он был не свой человек и пережил ужасные минуты.

“Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить”, — говорил себе Левин. <...> И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться.

Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить» (часть восьмая, гл. IX).

Выходом из кризиса для этого толстовского героя оказывается не самоубийство, а внезапное — и очень простое — прозрение, связанное с очередной мужицкой беседой.

«— Да так, значит — люди разные; один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч — правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит.

— Как Бога помнит? Как для души живет? — почти вскрикнул Левин.

— Известно как, по правде, по-божью. Ведь люди разные. Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека...

— Да, да, прощай! — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому.

Новое радостное чувство охватило Левина. При словах мужика о том, что Фоканыч живет для души, по правде, по-божью, неясные, но значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то иззаперти, все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом» (часть восьмая, гл. XI).

Погасшая свеча жизни Анны контрастирует с ослепительным светом духовного прозрения Константина. «“Неужели это вера? — подумал он, боясь верить своему счастью. — Боже мой, благодарю тебя!” — проговорил он, проглатывая поднимающиеся рыдания и вытирая обеими руками слезы, которыми полны были его глаза» (часть восьмая, гл. XIII).

На этом финальном обретении жизни по-божью, идеала добра оканчивается толстовская книга: «Это новое чувство не изменило меня, не несчастливало, не про-

светило вдруг, как я мечтал, — так же как и чувство к сыну. Никакого тоже сюрприза не было. А вера — не вера — я не знаю, что это такое, — но чувство это так же незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе.

Так же буду сердиться на Ивана-кучера, так же буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святой святых моей души и другими, даже женой моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться, — но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее — не только не бессмысленна, какую была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!»

Последние страницы романа (и мысли о самоубийстве, и стремление к идеалу добра, и даже этот шнурок), в сущности, превращаются в толстовский дневник. В «Анне Карениной» дана первоначальная стенограмма уже не очередного кризиса, как в начале десятилетия, а *духовной катастрофы*.

Выходом из нее становятся новое понимание христианства, собственная философия (толстовство), борьба с историей, жертвами которой становятся практически все общественные институты и установления: государство, церковь, искусство, семья.

Идеи непротivления злу насилием, жизни по-божью, сближения на этой почве с простым народом Толстой будет со страстью развивать в статьях и трактатах следующих трех десятилетий.

«Анна Каренина» оказалась рубежом, Рубиконом, и пала жертвой этих новых толстовских воззрений.

«Насчет “Карениной”. Уверяю вас, что этой мерзости для меня не существует и что мне только досадно, что есть люди, которым это на что-нибудь нужно. <...> Я ничего не могу сказать, кроме пожать плечами», — раздраженно напишет Толстой художественному критику В. В. Стасову вместо ответа на какой-то мелкий вопрос (1 мая 1881 г.).

Этой суровой самокритике следовать не обязательно.

«Вообще ночь была подлая. Единственным утешением служила для меня милая и дорогая Анна, которой я занимался во всю дорогу», — расскажет толстовский законный наследник о железнодорожной поездке в одном из ранних писем (А. П. Чехов — родным, 10 марта 1887 г.).

Через полтора десятилетия он шутивно скажет уже собственному литературному наследнику о своей боязни великого Льва, приведя как пример одну из многочисленных толстовских деталей (в романе их тысячи): «— Боясь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте! — Серьезно, я его боюсь, — говорит он, смеясь и как бы радуясь этой боязни» (И. А. Бунин. «Чехов»).

И мы имеем полное право не поверить Толстому и защитить от автора великий роман и его мучительно искавших истину героев.

И. Н. Сухих



Мне отмщение, и Аз воздам

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожителстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.

«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, — и столы пели: *Il mio tesoro*¹, и не *Il mio tesoro*, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

¹ Мое сокровище (*итал.*).

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было от личного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистой сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.

«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.

«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, — думал он. — Ах, ах, ах!» — приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.

Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.

Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какую он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.

— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.

И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.

С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтобы оскорбиться, отречься, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал! — его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», — подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулись привычною, доброю и потому глупою улыбкой.

Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.

— «Всему виной эта глупая улыбка», — думал Степан Аркадьич.

«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.

II

Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.

«Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! — твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. — И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что *она* была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-lle Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяй! Но что же, что же делать?»

Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.

«Там видно будет», — сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.

— Из присутствия есть бумаги? — спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.

— На столе, — отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: — От хозяина извозчика приходили.

Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?»

Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина.

— Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну, — сказал он, видимо, приготовленную фразу.

Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло.

— Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, — сказал он, оставив на минуту глянцевитую, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.

— Слава богу, — сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой.

— Одни или с супругом? — спросил Матвей.

Степан Аркадьич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой.

— Одни. Наверху приготовить?

— Дарье Александровне доложи, где прикажут.

— Дарье Александровне? — как бы с сомнением повторил Матвей.

— Да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут.

«Попробовать хотите», — понял Матвей, но он сказал только:

— Слушаю-с.

Степан Аркадьич уже был умыт и расчесан и сбирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было.

— Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, — сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карманы и склонив голову набок, уставился на барина.

Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице.

— А? Матвей? — сказал он, покачивая головой.

— Ничего, сударь, образуется, — сказал Матвей.

— Образуется?

— Так точно-с.

— Ты думаешь? Это кто там? — спросил Степан Аркадьич, услышав за дверью шум женского платья.

— Это я-с, — сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки.

— Ну что, Матреша? — спросил Степан Аркадьич, выходя к ней в дверь.

Несмотря на то, что Степан Аркадьич был кругом виноват пред женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне.

— Ну что? — сказал он уныло.

— Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось Бог даст. Очень мучаются, и смотреть жалости, да и все в доме навынтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься...

— Да ведь не примет...

— А вы свое сделайте. Бог милостив, Богу молитесь, сударь, Богу молитесь.

— Ну, хорошо, ступай, — сказал Степан Аркадьич, вдруг покраснев. — Ну, так давай одеваться, — обратился он к Матвее и решительно скинул халат.

Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облек в нее холеное тело барина.

III

Одевшись, Степан Аркадьич прыснул на себя духами, вытянул рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофей и, рядом с кофеем, письма и бумаги из присутствия.

Степан Аркадьич сел, прочел письма. Одно было очень неприятное — от купца, покупавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать; но теперь, до примирения с женой, не могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирения с женой, — эта мысль оскорбляла его.

Окончив письма, Степан Аркадьич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистовал два дела, большим карандашом сделал

несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе; за кофеом он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее.

Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись.

Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не оттого, чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно, и действительно, у Степана Аркадьича долгов было много, а денег решительно недоставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смиренного человека тем, что если уже гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника — обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, «по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс», и т. д. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственной

ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки: от кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрены Филимоновны и о том, что в доме так неблагоприятно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложение молодой особы; но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия.

Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь особенно приятное, — радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение.

Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался.

Два детские голоса (Степан Аркадьич узнал голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки) послышались за дверьми. Они что-то везли и уронили.

— Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, — кричала по-английски девочка, — вот подбирай!

«Все смешалось, — подумал Степан Аркадьич, — вон дети одни бегают». И, подойдя к двери, он кликнул их. Они бросили шкатулку, представившую поезд, и вошли к отцу.

Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда, радуясь на знакомый запах духов, распространявшийся от его бакенбард. Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад; но отец удержал ее.

— Что мама? — сказал отец, водя рукой по гладкой нежной шейке дочери. — Здравствуй, — сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику.

Он сознавал, что меньше любил мальчика, и всегда старался быть ровен; но мальчик чувствовал это и не ответил улыбкой на холодную улыбку отца.

— Мама? Встала, — отвечала девочка.

Степан Аркадьич вздохнул. «Значит, опять не спала всю ночь», — подумал он.

— Что, она весела?

Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел.

— Не знаю, — сказала она. — Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке.

— Ну, иди, Танчурочка моя. Ах да, постой, — сказал он, все-таки удерживая ее и глядя ее нежную ручку.

Он достал с камина, где вчера поставил, коробочку конфет и дал ей две, выбрав ее любимые, шоколадную и помадную.

— Грише? — сказала девочка, указывая на шоколадную.

— Да, да. — И еще раз погладив ее плечико, он поцеловал ее в корни волос, в шею и отпустил ее.

— Карета готова, — сказал Матвей. — Да просительница, — прибавил он.

— Давно тут? — спросил Степан Аркадьич.

— С полчасика.

— Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать!

— Надо же вам дать хоть кофею откусать, — сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться.

— Ну, проси же скорее, — сказал Облонский, морщась от досады.

Просительница, штабс-капитанша Калинина, просила о невозможном и бестолковом; но Степан Аркадьич, по своему обыкновению, усадил ее, внимательно, не перебивая, выслушал ее и дал ей подробный совет, к кому и как обратиться, и даже бойко и складно своим крупным, растянутым, красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штабс-капитаншу, Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, — жену.

«Ах да!» Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. «Пойти или не пойти?» — говорил он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, не способным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре.

«Однако когда-нибудь нужно; ведь не может же это так остаться», — сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза, бросил ее в перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь, в спальню жены.

IV

Дарья Александровна, в кофточке и с прищипленными на затылке косами уже редких, когда-то густых и прекрасных волос, с осунувшимся, худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица,

испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей пред открытою шифоньеркой, из которой она выбирала что-то. Услышав шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь и тщетно пытаясь придать своему лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящего свидания. Она только что пыталась сделать то, что пыталась сделать уже десятый раз в эти три дня: отобрать детские и свои вещи, которые она увезет к матери, — и опять не могла на это решиться; но и теперь, как в прежние раза, она говорила себе, что это не может так остаться, что она должна предпринять что-нибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему хоть малюю частью той боли, которую он ей сделал. Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими. И то в эти три дня меньшей заболел от того, что его накормили дурным бульоном, а остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно; но, обманывая себя, она все-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет.

Увидав мужа, она опустила руки в ящик шифоньерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание.

— Долли! — сказал он тихим, робким голосом. Он втянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный вид, но он все-таки сиял свежестью и здоровьем.

Она быстрым взглядом оглядела с головы до ног его сияющую свежестью и здоровьем фигуру. «Да, он счастлив и доволен! — подумала она, — а я?! И эта доброта противная, за которую все так любят его и хвалят; я ненавижу эту его доброту», — думала она. Рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, нервного лица.

— Что вам нужно? — сказала она быстрым, не своим, грудным голосом.

— Долли! — повторил он с дрожанием голоса. — Анна приедет нынче.

— Ну что же мне? Я не могу ее принять! — вскрикнула она.

— Но надо же, однако, Долли...

— Уйдите, уйдите, уйдите! — не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью.

Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все *образуется*, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе; но когда он увидал ее измученное, страдальческое лицо, услышал этот звук голоса, покорный и отчаянный, ему захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>И. Н. Сухих. «Анна Каренина»:</i>	
<i>мысль семейная и жизнь по-божью.</i>	<i>3</i>
Часть первая	9
Часть вторая	107
Часть третья	211
Часть четвертая	309
Часть пятая	379
Часть шестая	477
Часть седьмая	577
Часть восьмая	659
<i>Примечания.</i>	<i>699</i>